



Г. ПЛЕХАНОВ

Искусство и общественная жизнь

<фрагмент>

<...> Когда у человека все «рушилось», кроме его собственного «я», тогда ничего не мешает ему играть роль спокойного летописца великой войны, происходящей в недрах современного общества. Впрочем, нет. И тогда есть нечто, мешающее ему играть эту роль. Этим нечто будет как раз то отсутствие всякого общественного интереса <...> Зачем станет выступать в качестве летописца общественной борьбы человек, нимало не интересующийся ни борьбой, ни обществом? Все, касающееся такой борьбы, будет навевать на него непреодолимую скуку. И если он художник, то он в своих произведениях не сделает на нее и намека. Он и там будет заниматься «единственной реальностью», то есть своим «я». А так как его «я» может все-таки соскучиться, не имея другого общества, кроме самого себя, то он придумает для него фантастический, «потусторонний» мир, высоко стоящий над землей и над всеми земными «вопросами». Так и делают многие из нынешних художников. Я не клевету на них. Они сами признаются в этом. Вот что пишет, например, наша соотечественница госпожа З. Гиппиус.

«Я считаю естественной и необходимейшей потребностью человеческой природы — молитву. Каждый человек непременно молится или стремится к молитве, — все равно, сознает он это или нет, все равно, в какую форму выливается у него молитва и к какому Богу обращена. Форма зависит от способностей и наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение в частности, словесная музыка — это лишь одна из форм, которую принимает в нашей душе молитва»*.

Разумеется, совершенно неосновательно это отождествление «словесной музыки» с молитвой. В истории поэзии были очень

* Гиппиус З. Предисловие // Собрание стихотворений, с. II.

длинные периоды, в течение которых она не имела ровно никакого отношения к молитве. Но спорить об этом нет надобности. Мне важно было здесь лишь познакомить читателя с терминологией г-жи Гиппиус, так как незнакомство с этой терминологией могло привести его в некоторое недоумение при чтении следующих отрывков, важных для нас уже по своему существу.

Госпожа Гиппиус продолжает: «Виноваты ли мы, что каждое “я” теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от другого “я”, и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение, — отражение мгновенной полноты нашего сердца. Но другому, у которого заветное “свое” — другое, непонятна и чужда моя молитва. Сознание одиночества еще более отрывает людей друг от друга, обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем, — говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя»*.

Когда индивидуализм достигает такой крайней степени, тогда, в самом деле, исчезает, как весьма справедливо говорит г-жа Гиппиус, «возможность общения именно в молитве (то есть поэзии. — Г. П.), общность молитвенного (то есть поэтического. — Г. П.) порыва». Но от этого не может не страдать поэзия и вообще искусство, служащее одним из средств общения между людьми. Еще библейский Иегова весьма основательно заметил, что не добро быть человеку единому. И это прекрасно подтверждается примером самой г-жи Гиппиус. В одном из ее стихотворений мы читаем:

Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет,
Но люблю я себя, как Бога, —
Любовь мою душу спасет.

В этом позволительно усомниться. Кто любит «себя, как Бога»? Беспредельный эгоист. А беспредельный эгоизм вряд ли способен спасти чью-нибудь душу.

Но дело вовсе не в том, будут ли спасены души г-жи Гиппиус и всех тех, которые, подобно ей, любят «себя, как Бога». Дело в том, что поэты, любящие себя, как Бога, не могут иметь никакого интереса к тому, что происходит в окружающем их обществе. Их стремления, по необходимости, будут до последней степени неопределенны. В стихотворении «Песня» г-жа Гиппиус «поет»:

* Там же, с. III.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...
И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает!
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

Это, пожалуй, и не дурно сказано. Человеку, который «любит себя, как Бога» и утратил способность общения с другими людьми, остается только «просить чуда» и стремиться к тому, «чего нет на свете»: то, что есть на свете, для него не может быть интересным. У Сергеева-Ценского поручик Бабаев говорит: «Бледная немочь выдумала искусство»*. Этот философствующий сын Марса сильно заблуждается, полагая, что *всякое* искусство выдуманно бледной немочью. Но совершенно неоспоримо, что искусство, стремящееся к тому, «чего нет на свете», создается «бледной немочью». Оно характеризует собою упадок целой системы общественных отношений и потому очень удачно называется декадентским.

Правда, та система общественных отношений, упадок которой характеризуется этим искусством, то есть система капиталистических отношений производства, еще далека от упадка на нашей родине. У нас в России капитализм еще не окончательно справился со старым порядком. Но русская литература со времен Петра I находится под сильнейшим влиянием западноевропейских. Поэтому в нее нередко проникают такие течения, которые, вполне соответствуя западноевропейским общественным отношениям, гораздо меньше соответствуют сравнительно отсталым отношениям в России. Было время, когда некоторые наши аристократы увлекались учением энциклопедистов**, со-ответствовавшим одной из последних фаз борьбы третьего сосло-

* Сергеев-Ценский. Рассказы, т. II, с. 128.

** Известно, например, что сочинение Гельвеция «De l'homme» было издано в 1772 г. в Гааге одним из князей Голицыных.

вия с аристократией во Франции. Теперь настало такое время, когда многие наши «интеллигенты» увлекаются общественными, философскими и эстетическими учениями, соответствующими эпохе упадка западноевропейской буржуазии. Это увлечение в такой же мере упреждает ход нашего собственного общественного развития, в какой упреждало увлечение людей XVIII столетия теорией энциклопедистов*. Но если возникновение русского декадентства не может быть в достаточной мере объяснено нашими, так сказать, домашними причинами, то это несколько не изменяет его природы. Занесенное к нам с Запада, оно и у нас не перестает быть тем, чем было у себя дома: порождением «бледной немочи», сопровождающей упадок класса, господствующего теперь в Западной Европе.

Госпожа Гиппиус скажет, пожалуй, что я совершенно произвольно приписал ей полное равнодушие к общественным вопросам. Но, во-первых, я ничего не приписывал ей, а ссылался на ее собственные лирические излияния, ограничиваясь определением их смысла. Предоставляю читателю судить, правильно ли я понял эти излияния. Во-вторых, я знаю, конечно, что госпожа Гиппиус не прочь потолковать теперь и о социальном движении. Вот, например, книга, написанная ею в сотрудничестве с господами Д. Мережковским и Д. Filosoфовым и изданная в Германии в 1908 г., может служить убедительным свидетельством в пользу ее интереса к русскому общественному движению. Но достаточно прочесть предисловие к этой книге, чтобы видеть, как исключительно стремятся авторы к тому, «чего они не знают». Там говорится, что Европе известно дело русской революции, но не известна ее душа. И, вероятно, для того, чтобы познакомить

* Увлечение русских аристократов французскими энциклопедистами вовсе не имело серьезных практических последствий. Однако оно было п о л е з н о в том смысле, что все-таки очищало некоторые аристократические головы от кое-каких аристократических предрассудков. Наоборот, нынешнее увлечение некоторой части нашей интеллигенции философскими взглядами и эстетическими вкусами падающей буржуазии в р е д н о в том смысле, что оно наполняет наши «интеллигентные» головы такими буржуазными предрассудками, для самостоятельного возникновения которых ход общественного развития еще не достаточно подготовил русскую почву. Предрассудки эти проникают даже в умы многих русских людей, сочувствующих пролетарскому движению. Поэтому у них образуется удивительная смесь социализма с модернизмом, порожденным упадком буржуазии. Эта путаница приносит немало вреда даже и на практике.

Европу с душой русской революции, авторы рассказывают европейцам следующее: «Мы похожи на вас, как похожа левая рука на правую... Мы равны вам, однако, только в обратном смысле... Кант сказал бы, что наш дух лежит в трансцендентальном, а ваш — в феноменальном. Ницше сказал бы: у вас царствует Аполлон, у нас Дионис; ваш гений состоит в умеренности, наш в порыве. Вы умеете вовремя остановиться; если вы наталкиваетесь на стену, то вы останавливаетесь или обходите ее; мы же с разбегу бьемся об нее головой (wir rennen uns aber die Köpfe ein). Нам нелегко раскачать себя, но раз мы раскачались, мы уже не можем остановиться. Мы не ходим, мы бегаем. Мы не бегаем, мы летаем. Мы не летаем, мы низвергаемся. Вы любите золотой средний путь, мы любим крайности. Вы справедливы, для нас нет никаких законов; вы умеете сохранить свое душевное равновесие, мы всегда стремимся к тому, чтобы потерять его. Вы владеете царством настоящего, мы ищем царство будущего. В конце концов, вы все таки всегда ставите государственную власть выше всех тех свобод, каких вы можете добиться. Мы же остаемся бунтовщиками и анархистами, даже будучи закованы в рабские цепи. Рассудок и чувство ведут нас к крайнему пределу отрицания, и, несмотря на это, все мы в глубочайшей основе нашего существа и воли остаемся мистиками»*.

Далее европейцы узнают, что русская революция так же абсолютна, как и та государственная форма, против которой она направляется, и что если эмпирическая сознательная цель этой революции есть социализм, то ее бессознательной мистической целью является анархия**. В заключение наши авторы сообщают, что они обращаются не к европейской буржуазии, а... вы думаете, читатель, к пролетариату? Ошибаетесь! «Только к отдельным умам универсальной культуры, к людям, разделяющим тот взгляд Ницше, что государство есть самое холодное из всех холодных чудовищ», и т. д.***

Я привел эти выписки вовсе не для полемических целей. Я вообще не веду здесь полемики, а лишь стараюсь характеризовать и объяснить известные настроения известных общественных слоев. Выписки, только что сделанные мною, достаточно показывают, надеюсь, что, заинтересовавшись (наконец!) обще-

* *Mereschkowsky Dmitri, Hippus Zinaida, Philosophoff Dmitri. Der Zar und die Revolution. München: R. Ripper & Co Verlag, 1908. Seite 1—2.*

** Ibid. S. 5.

*** Ibid. S. 6.

ственными вопросами, г-жа Гиппиус осталась тем же, чем являлась она перед нами в цитированных выше стихотворениях: крайней индивидуалисткой декадентского толка, которая жаждет «чуда» именно потому, что не имеет никакого серьезного отношения к живой общественной жизни. Читатель не забыл той мысли Леконта де Лилля, что поэзия дает теперь идеальную жизнь тому, у кого уже нет жизни реальной. А когда у человека прекращается всякое духовное общение с окружающими его людьми, тогда его идеальная жизнь теряет всякую связь с землею. И тогда его фантазия уносит его на небо, тогда он становится мистиком. Насквозь пропитанный мистицизмом интерес ее к общественным вопросам не имеет в себе ровно ничего плодотворного*. Только напрасно думает она вместе со своими сотрудниками, что ее жажда «чуда» и ее «мистическое» отрицание «политики», «как науки», составляет отличительную черту русских декадентов**. «Трезвый» Запад раньше «пьяной» России выдвинул людей, восстающих против разума во имя неразумного влечения. Эрик Фальк у Пшибышевского бранит социал-демократов и «салонных анархистов, вроде Дж. Генр. Маккея», не за что иное, как за их будто бы излишнее доверие к разуму.

«Все они, — вещает этот нерусский декадент, — проповедуют мирную революцию, замену разбитого колеса новым в то время,

* Гг. Мережковский, Гиппиус и Философов в своей немецкой книге совсем не отвергают названия «декаденты». Они ограничиваются скромным сообщением Европе о том, что русские декаденты «достигли высочайших вершин мировой культуры» («Haben die höchsten Gipfel der Weltkultur erreicht») (Ibid. S. 151).

** Ее мистический анархизм, разумеется, не испугает решительно никого. Анархизм, вообще, представляет собою лишь крайний вывод из основных посылок буржуазного идеализма. Вот почему мы часто встречаем сочувствие к анархизму у буржуазных идеологов периода упадка. Морис Баррэс тоже сочувствовал анархизму в ту пору своего развития, когда утверждал, что нет никакой другой реальности, кроме нашего «я». Теперь у него, наверно, нет с о з н а т е л ь н о г о сочувствия к анархизму, так как теперь давно уже прекратились все мнимо-бурные порывы баррэсовского индивидуализма. Теперь уже «восстановлены» для него те «достоверные истины», которые он объявлял тогда «разрушенными». Процесс их восстановления совершился путем перехода Баррэса на реакционную точку вульгарнейшего национализма. И в таком переходе нет ничего удивительного: из крайнего буржуазного идеализма рукой подать до самых реакционных «истин». Avis (предупреждение (фр.). — *Сост.*) для г-жи Гиппиус, а также для господ Мережковского и Философова.

как телега находится в движении. Вся их догматическая постройка идиотски глупа именно потому, что она так логична, ибо она основана на всемогуществе разума. Но до сих пор все происходило не по разуму, а по глупости, по бессмысленной случайности».

Ссылка Фалька на «глупость» и на «бессмысленную случайность» совершенно одинакова по своей природе с тем стремлением к «чуду», каким насквозь пропитана немецкая книга г-жи Гиппиус и гг. Мережковского и Философова. Это одна и та же мысль под разными названиями. Ее происхождение объясняется крайним субъективизмом значительной части нынешней буржуазной интеллигенции. Когда «единственной реальностью» человек считает свое собственное «я», тогда он не может допустить, что существует объективная «разумная», то есть закономерная связь между этим «я», с одной стороны, и окружающим его внешним миром — с другой. Внешний мир должен представляться ему или совсем не реальным, или же реальным только отчасти, только в той мере, в какой его существование опирается на единственную истинную реальность, то есть на наше «я». Если такой человек любит философское умозрение, то он скажет, что, создавая внешний мир, наше «я» вносит в него хоть некоторую долю своей разумности; философ не может окончательно восстать против разума даже тогда, когда ограничивает его права по тем или другим побуждениям, например, в интересах религии*. Если же человек, считающий единственной реальностью свое собственное «я», к философскому умозрению не склонен, тогда он вовсе не станет задумываться о том, как создается этим «я» внешний мир. И тогда он вовсе не будет расположен предполагать во внешнем мире хоть некоторую долю разумности, то есть закономерности. Напротив, тогда мир этот представится ему царством «бессмысленной случайности». И если он вздумает посочувствовать какому-нибудь великому общественному движению, то он непременно скажет, подобно Фальку, что успех его может быть обеспечен отнюдь не закономерным ходом общественного развития, а только человеческой

* Как на пример такого мыслителя, ограничивавшего права разума в интересах религии, можно указать на Канта: «Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen» (Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Ausgabe. S. 26. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam, Zweite verbesserte Auflage) («Я должен был ограничить знание, чтобы утвердить веру», «Критика чистого разума», Предисловие ко второму изданию. — *Сост.*).

«глупостью», или, — что одно и то же, — «бессмысленной» исторической «случайностью». Но, как я уже сказал, мистический взгляд Гиппиус и обоих ее единомышленников на русское освободительное движение ничем не отличается, по своему существу, от взгляда Фалька на «бессмысленные» причины великих исторических событий. Стремясь поразить Европу неслыханною безмерностью свободолюбивых стремлений русского человека, авторы названной мною выше немецкой книги остаются декадентами чистейшей воды, способными чувствовать симпатию только к тому, «чего не бывает, никогда не бывает», то есть, другими словами, неспособными отнестись с симпатией ни к чему, происходящему в действительности. Стало быть, их мистический анархизм отнюдь не ослабляет тех выводов, к которым пришел я на основании лирических излияний г-жи Гиппиус.

Раз заговорив об этом, выскажу свою мысль до конца. События 1905—1906 годов произвели на русских декадентов такое же сильное впечатление, какое события 1848—1849 годов произвели на французских романтиков. Они вызвали в них интерес к общественной жизни. Но этот интерес еще менее подходил к душевному складу декадентов, чем подходил он к душевному складу романтиков. Поэтому он оказался еще менее устойчивым. И нет никакого основания принимать его за нечто серьезное.

Вернемся к современному искусству. Когда человек расположен считать свое «я» единственной реальностью, тогда он, как г-жа Гиппиус, «любит себя, как Бога». Это вполне понятно и совершенно неизбежно. А когда человек «любит себя, как Бога», он в своих художественных произведениях станет заниматься только самим собою. Внешний мир будет интересовать его лишь постольку, поскольку он так или иначе касается все той же «единственной реальности», все того же драгоценного «я». У Зудермана, в его очень интересной пьесе «Das Blumenboot» *, баронесса Эрффлинген говорит своей дочери Пэе в первой сцене второго действия: «Люди нашего разряда существуют затем, чтобы из вещей этого мира создавать что-то вроде веселой панорамы, которая проходит перед нами, или, вернее, к а ж е т с я проходящей. Потому что на самом-то деле в движении находимся мы. Это несомненно. И при этом нам не надо никакого балласта». Этими словами как нельзя лучше обозначена жизненная цель людей того разряда, к которому принадлежит госпожа Эрффлинген, людей, которые с полнейшим убеждением могут по-

* «Среди цветов» (нем.).

вторить слова Баррэса: «Единственная реальность — это наше “я”». Но люди, преследующие такую жизненную цель, будут смотреть на искусство лишь как на средство так или иначе разукрасить ту панораму, которая *кажется* проходящей перед ними. При этом они и здесь постараются не обременить себя каким-нибудь балластом. Они или совсем будут пренебрегать идейным содержанием произведений искусства, или будут подчинять его капризам и изменчивым требованиям своего крайнего субъективизма. <...>

